

Мурашки для Флейты



Лада Миллер

16+

Лада Миллер
Blue Ocean Theater Studio
Мурашки для Флейты

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55700956

SelfPub; 2020

Аннотация

Если и есть на свете что-либо более благородное, чем писательство, то это медицина. Недаром же говорят, что настоящая литература врачует душу. «Мурашки для Флейты» – книга, которую можно смело прописывать читателям всех возрастов, а некоторым – и по несколько раз в день. Повести и рассказы канадской писательницы Лады Миллер, входящие в этот сборник – это тонкие психологические драмы, герои которых – обычные люди, во многом напоминающие нас: слабые, не очень-то счастливые, разочарованные. Вот только по воле писательницы, их чувства оголены, мысли прозрачны, поступки непредсказуемы. И все это по одной причине: герои «мурашек» ещё не утратили детскую веру в простые истины – любовь и надежду. Мало того – они готовы поделиться этой верой с нами.

Содержание

Повести	6
Пигалица Агата	6
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	22
Глава пятая	27
Глава шестая	32
Глава седьмая	37
Глава восьмая	43
Глава девятая	49
Эпилог	55
Жена писателя	58
Глава первая	58
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Посвящается всем женщинам на свете



Повести

Пигалица Агата

*И как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними.
Лук. 6:31*

Глава первая

– Самые незащитные существа на свете – это собаки и маленькие девочки, – сказала Маленькая Девочка Внутри и скосила на меня любопытный глаз.

– Ты кто? – спросила я, собираясь закрывать кабинет.

Рабочий день закончился, глаза окон вдруг потемнели и набухли дождём. Машина была в ремонте, а зонт я потеряла ещё прошлой осенью.

Осень. Надо же, какое холодное и неуютное слово.

Швабра, а не слово.

Придётся шлёпать по лужам до самого метро.

– Я – Маленькая Девочка Внутри, – прощепетала она и схватила меня за палец. – По лужам – это здорово.

Ладошка была тёплая, родная такая ладошка. Я потяну-

лась к выключателю.

– Не выключай. Пожалуйста. Я боюсь темноты. Как и ты.

– Но я ухожу домой. Зачем оставлять свет в клинике, которая будет пустовать до завтрашнего утра?

– Она не будет пустовать. В ней будут жить твои слова и мысли.

– Откуда ты знаешь?

– Я много чего знаю. Я же Девочка, Которая Живёт Внутри.

– Вот как? – и я закрыла дверь. В кабинете осталась гореть маленькая настольная лампа.

– Ага. Именно так. А ты молодец, что сразу меня послушалась. Завтра придём, а тут светло!

– Хм-мм. Послушалась. Завтра придём. Ну да, ну да, – сказала я вслух, а сама подумала:

– И откуда ты взялась на мою бедную голову?

Подумала и зашла в лифт. Скорей, скорей на улицу, пусть дождь, зато свежего воздуха глотну. Может быть, пройдёт это навязчивое головокружение. Уже несколько недель всё вокруг в тумане, и в груди тяжело, будто под водой живу, а теперь вот ещё новости – дети какие-то мерещатся.

– Взялась я не откуда-то, а из тебя. И не какие-то дети, а Девочка, Которая Внутри. И кстати, свежий воздух тебе не поможет, и голова твоя совсем не бедная. Голова твоя очень даже ничего, – девочка нажала на кнопку «выход» и продолжила:

– А то, что кружится – это не страшно. Голова всегда кружится, если умрёшь.

– Ты, выходит, слышишь мои мысли? – лениво поинтересовалась я, выходя на улицу.

Фразу про «умрёшь» пришлось выбросить из текста. Так бывает. Послышалось. В конце рабочего дня и не такое иногда слышится.

– Ещё бы, ведь ты думаешь о том, о чём не любишь говорить вслух. Я угадала? Ну скажи, скажи, угадала?

Она семенила, стараясь успевать за моим широким шагом, а ещё – шлёпнуть ножкой по каждой встречной луже.

– Угадала, – кивнула я, – только не шлёпай так, пожалуйста, ты мне все колготки забрызгала.

– Подумаешь, – легкомысленно отозвалась она, – мы же всё равно сейчас придём домой, и ты переоденешься в сухое, возьмёшь меня на ручки. Только не думай слишком громко, а то у меня в ушах звенит.

Я улыбаюсь, проскакиваю через стеклянную крутящуюся дверь. Развязываю колючий шарф.

В метро шумно, зато сухо. Девочке становится снова страшно – я чувствую, что мою руку обхватили две ладошки вместо одной.

– А о чём я сейчас подумала? – спрашиваю я, стараясь её отвлечь.

Парень, проходящий мимо, удивлённо оглядывается – ему непонятно, с кем я разговариваю – ни телефона, ни на-

ушников – обыкновенная тётка, серое пальто, усталые глаза.

– Ты подумала, что меня на самом деле нет. Что я просто персонаж твоей очередной книги. Что я у тебя в голове и скоро исчезну, как только ты меня перенесёшь из головы на бумагу. Ты ведь пишешь книжки, правда?

– Правда. И я правда об этом подумала, – становлюсь на чёрные ступени, смотрю вниз, у меня снова кружится голова – то ли от высоты, то ли оттого, что в голове поселилась эта маленькая.

– Да не в голове! Не в голове! И не поселилась! – в детском голосе досада на всех глупых взрослых мира. – Я – у – тебя – внутри – говорит она по слогам, будто пытается объяснить что-то очень важное. – И уже давно. С самого начала, понимаешь?

Я не понимаю, но киваю. Воображение разыгралось. Бывает. Я киваю и стараюсь ничего не забыть. Очень может быть, что сегодня вечером я действительно изобразу всё это на бумаге, точно как сказала эта девочка. Кстати, ей нужно придумать имя.

– Ты хочешь знать, как меня зовут? – ребёнок тянет меня за руку назад, тормозит на выходе с эскалатора. Бойтся. Подхватываю её. Худенькое тельце вздрагивает, прижимается, руки обвивают шею.

– Наконец-то, – ворчит она не по-детски. – Ножки устали. Зови меня Агата.

Мы заходим в вагон, он набит серыми людьми. У них

хмурые лица. Одной рукой я держусь за металлический поручень, другой прижимаю к себе ребёнка. Надо же, Агата. Внутри становится тепло. Лицо расправляет морщины. Мысли начинают бежать веселее.

Скорей бы попасть домой. Оставить осень снаружи. Вот приду, переоденусь, а лучше, сначала залезу под горячий душ. Нет, сначала выгуляю собаку. Или всё-таки открою холодильник и зачерпну три оливки из банки. Три оливки для Золушки. Непросто быть Золушкой, когда тебе «любая цифра после сорока».

– Ах, нет, – спохватываюсь я. – Сначала нужно будет переодеть Агату. Она наверняка промочила ноги.

Разглядываю Агатины башмачки. Они голубые, с мелкими дырочками спереди, с шёлковыми, тёмносиними шнурками. И, конечно, мокрые. У меня в детстве были точно такие, я помню. Помню, что упорно продолжала их носить, даже когда они мне стали малы. Потому что кто-то из взрослых пошутил, не знаю, зачем, что башмачки эти волшебные, и, пока я их ношу, они могут выполнять мои желания.

Я носила их всё время, пока однажды не натёрла ноги до крови.

Но собаку мне так и не купили. А это и было моё единственное желание.

С тех пор я взрослым не верю. Как сегодня сказал этот странный ребёнок – самые незащитные существа на свете – это...

Глава вторая

– Это собаки и маленькие девочки, – прошелестела Агата мне на ухо. – Мы уже приехали?

– Почти. Потерпи ещё немного. Ты, может, голодная?

– Я никогда не бываю голодная. Точно, как и ты, помнишь?

На остановках в вагон заходят новые люди, сливаются с остальными. Они чужие, и мы обе это очень хорошо чувствуем. Агата прижимается ко мне ещё крепче, я дую ей в кудрявый затылок, успокаиваю.

Конечно, я помню, что в детстве никогда не бывала голодной.

Невозможно быть голодной, когда тебя кормят, словно гуся на убой.

Кормят насильно и даже иногда бьют по щекам.

Это не самое страшное в жизни, когда бьют по щекам, но, надеюсь, Агата про это не...

– Помню, – вздыхает она у меня на плече. – Давай про другое.

– Давай, – соглашаюсь я.

Про другое, так про другое. Но мысли скачут в обратную сторону.

Я вспоминаю, как это непросто – быть маленькой. Ты не знаешь и не умеешь сопротивляться. Ты беззащитная, да и

защищать-то тебя не от кого. Эти бедные взрослые, они сами не знают, что с тобой делать. Они забыли, что были маленькими тоже.

Они так мало тебя любят, что пытаются поделить между собой, а потому постоянно ругаются.

Они так сильно тебя любят, что кормят насильно, пытаюсь доказать всем вокруг, что любят тебя ого-го как.

А ты вдруг вырастаешь и понимаешь, что толще всех подруг в классе. А может, и в школе. А может, и в мире.

Ты начинаешь выбрасывать завтраки, выливать обеды, прятать ужины.

В теле появляется невиданная лёгкость. Одежда начинает болтаться на тебе, словно на вешалке.

Рано утром ты встаёшь, запираешь дверь спальни, раздеваешься, встаёшь перед зеркалом, разглядываешь своё тело.

Тело светится юностью, оно прекрасно.

Но Маленькая Девочка Внутри мотает головой и заявляет, что ты толще и уродливей всех на свете.

И тогда ты начинаешь питаться только воздухом, и тело твоё от воздуха становится таким лёгким, что ты взлетаешь. Учительница кричит:

– Скорую! Ребёнок потерял сознание.

Скорая – это проваленные носилки, вроде гамака и серое одеяло, которое кусает и колет твои прозрачные ноги, Скорая – это длинные трубки, ещё более прозрачные, чем твои ноги, а на концах трубок – блестящие иголки, ещё более ко-

любие, чем дурацкое одеяло.

Скорая приезжает, чтобы вернуть тебе потерянное сознание, а на самом деле, помешать тебе летать, и это навсегда.

Вагон несётся сквозь чёрный туннель, покачивается на поворотах. Люди возвращаются домой. Мне очень хочется верить, что все они – хорошие и добрые. Что никто из них, придя домой, не ударит своего ребёнка. Что их дети не попадут на три месяца в больницу из-за того, что хотели летать и потому однажды перестали есть.

– Не надо о грустном, – всхлипывает Агатка. – Я же тебя просила. Давай лучше про лето.

– Почему про лето?

– А это отличный способ – когда грустно – думать про лето. Ты тоже про это знала, но забыла.

Лето. Лето – это солнце, а на солнце я всегда расцветала, будто груша. Румянилась, округлялась, гладила себя по тёплым бокам, смутно догадываясь, что шелковиста и...

– Точно, – спохватываюсь я. – Было такое дело. Как хорошо, что ты мне напомнила.

– Я теперь всегда тебе буду напоминать про хорошее, – и она трётся носом о мою щеку.

– Почему же ты раньше не приходила?

– Раньше ты справлялась сама.

– А сейчас?

– А сейчас тебе нужна помощь. Как мне – тогда.

– Тебе? Тогда? Когда? Ах, ну да. Понимаю. А ты... – не

решаюсь спросить я.

– Ты хочешь знать, получала ли я эту помощь? – Агата поднимает на меня лицо, смотрит виновато. Наконец-то я могу её как следует рассмотреть. Пигалица. Так, бывало, называла меня бабушка. Пигалица и есть.

– Видишь ли, чтобы получить помощь, её надо попросить, рассказать – что не так. А есть вещи, про которые маленькие девочки рассказать не могут – вот хоть умри, тогда приходится справляться самой.

Освобождается место, я сажусь, Агатка возится, устраиваясь поудобнее, кладёт голову мне на плечо.

От её кудрявых волос, от всего её детского тела, пахнет цветущим лугом. Маем. Золотым шмелём.

– Если хочешь – Расскажи мне сейчас, – предлагаю я.

– Нет, – мотает она головой, – не хочу. Потому что такие вещи надо класть на самую верхнюю полку в голове, и не доставать. Пусть пылится.

Я хмурю лоб, вспоминаю. Наверное у каждого «самого незащитного существа на свете» есть такие воспоминания. Будь ты маленькая девочка, или собака. И, наверное, Агатка права, лучше всего их затолкать высоко и глубоко, а ещё лучше...

– А ещё лучше их совсем выкинуть, – говорю я зло. – Ты же помнишь, как этот козёл меня лапал, помнишь?

Агата заглядывает мне в лицо.

– Совсем выкинуть невозможно, – и она проводит холод-

ными пальчиками по моей щеке. – Лапал, но не тебя, а меня. Нас. Ведь я – это ты, только маленькая, только внутри. А тем, кто внутри – больше.

– Почему это невозможно выкинуть? – горячусь я шёпотом.

Вагон уже полупустой, но всё равно на меня косятся. Людям не видна эта прекрасная Девочка, Которая Внутри. Да её лучше и не показывать. Обязательно обидят. Как тогда меня. Вернее – нас обеих.

– Невозможно, – упрямо повторяет она. – Твои воспоминания – они не просто так. Они обязательно помогут кому-то другому. Другой девочке. Или собаке.

Это называется Запас Добра.

– Мне было девять лет! – шиплю я на Агатку. – Девять. А пьяный «друг семьи» завалился в детскую, присел на край кровати, начал шарить руками. Интересно, какой собаке и какой девочке может помочь мой ужас, мой стыд, мой кошмар?

Господи, как я отпихивала его, как стыдилась закричать, ну почему, почему мы всегда стыдимся закричать?

Агата смотрит на меня прищурившись, почти как взрослая.

– Вот именно поэтому ничего нельзя забывать совсем. Если забыть – это значит – так никогда и не крикнуть. Чтобы помочь другому, нужно сначала испытать боль самому. И знаешь, что ещё?

– Что? – вздыхаю я.

– По-моему, это наша остановка.

Глава третья

Мы выходим. Эскалатор уносится вверх, туда, где осень.

На улице ветер и дождь, сговорившись, хватают нас и начинают трепать, будто тряпичных кукол.

Я снова беру свою Агатку на руки, заворачиваю в широкое пальто, несколько коротких перебежек, и вот мы уже у подъезда. Третий этаж, ключ в замке, прихожая, в которой с утра свет – не могу возвращаться домой, когда совсем темно.

Я спускаю девочку с рук, мы проходим по комнатам, зажигаем все лампы подряд, включаем тихую музыку. На комодe стоят фотографии детей, дети уже большие, а на этих фотографиях все они удивительно похожи на Агатку.

Она удовлетворённо их рассматривает, что-то бормочет.

– Давай-ка, я тебя переодену, хорошо?

Она кивает, я снимаю с неё абсолютно мокрое платье, башмачки отправляются на батарею, Агатка отправляется под горячий душ.

Уже после, завёрнутая в мохнатое оранжевое полотенце, с подогретым бутербродом в руке, она восседает на расстеленной кровати, удивительно домашняя и родная, и снова пытается мне рассказать про запас добра. Я пою её какао, слушаю вполуха, улыбаюсь, киваю.

Мне хорошо, что она рядом, мне хорошо, что она – это немножечко я.

– И всё-таки, – перебиваю я её, – объясни мне, отчего ты не приходила ко мне раньше? Как ты жила без меня?

Она дожёвывает бутерброд, вытирает руки об одеяло, сдувает кудряшку со лба.

– Что значит – без тебя? Я всегда с тобой. Только внутри. А сейчас я появилась и снаружи, потому что тебе нужна моя помощь.

Потолок наклоняется, это снова начинает кружиться моя бедная голова.

– Слушай, – неясное беспокойство сначала колет, а потом сжимает левую грудь, – А почему именно сейчас мне нужна твоя помощь?

– Ну, ты же умерла, – отвечает позёвывающая Агата и тянется к чашке с какао. – Я тебе твержу об этом с самого начала.

Я леденею кончиками пальцев и проглатываю снежный ком.

– С чего ты взяла? – спрашиваю осторожно.

– Всё очень просто, – рассудительно объясняет моя девочка. – Рак четвёртой стадии с метастазами. Последние две недели в хосписе. Умерла, не придя в сознание в окружении свой семьи – четверых детей и безутешного мужа. Похоронена...

– Подожди! – вскакиваю и начинаю бегать по комнате, махать руками:

– Подожди! Ты ошибаешься! Я...

– Агатки не ошибаются, – бормочет она. – Ну, разве что, очень редко. И то – самые рассеянные.

– Ты ошибаешься, – подхожу к кровати, заглядываю в её серые глаза, трясую за плечи. – Слышишь? Ты самая рассеянная в мире Агатка! Чучело ты моё, – и я обнимаю её и прижимаю к своей груди, где бьётся моя испуганная жизнь, бьётся и прячется за выдумки, неотложные дела, неотложки, как мы называли их раньше с мужем. Раньше, пока не разошлись и не разделили наши неотложки поровну.

– Чем докажешь? – зеваает маленькая девочка с добрыми глазами цвета стали.

– Чем? Ну, как чем? Неужели ты не видишь, что я живая? Она усмехается и глядит на меня строго.

– Все мы живые, пока в это верим. Мы умираем только для тех, кто больше не верит в нас. Но сами-то мы верим в себя всегда, правда? Невозможно умереть для самого себя. Осознать, что умер – невозможно. А то, что невозможно осознать – того и на свете нет, понимаешь? Или ты думаешь, что если из твоего тела выросли цветы, ты на самом деле умерла? Тогда я открою тебе секрет, – Пигалица наклоняется совсем близко и шепчет мне в самое ухо, – Тело тут совсем ни при чём. Человек – он живёт вот здесь – и она стучит своим крохотным пальчиком по моему взмокшему от страха и неизвестности лбу, стучит, и мне начинает казаться, что эта самая Агатка старше меня лет на тысячу.

Я судорожно пытаюсь понять только что услышанные слова. Непонятно откуда, Пигалица достаёт огромный носовой платок в божьих коровках, начинает вытирать мне лоб, шею, плечи.

– А, вот, нашла! – восклицаю я каким-то смешным фальцетом и хватаю её за запястья. – Агаточка, крошка, послушай сюда! У меня трое! Трое детей! Трое, а не четверо, слышишь? И с мужем мы разошлись – вот уже пару лет, как. Так что все твои рассказы про метастазы и безутешного мужа и четверых детей – всё это не про меня. Что скажешь?

Маленькая девочка медленно отодвигается от меня. Смотрит исподлобья, будто видит в первый раз.

– погоди. Но ты же – Нино?

– Нино? Ну, какая же я Нино, – и я начинаю хохотать, как ненормальная, потом принимаюсь икать, и уже не могу остановиться. – Я – Нина!

Пигалица слезает с кровати, шлёпает босыми ногами на кухню, приносит стакан воды, заставляет выпить. И опять это чувство, что она меня старше. И ещё – эта пронзительная боль от будущей утраты. Боль поднимается из горла, забивает рот, уши, глаза.

– Но ты же меня не оставишь, нет? – отчего-то шёпотом спрашиваю я. – Ну и что, что я не Нино? – Ты же останешься со мной? Или мне теперь надо искать другую Агатку? Потому что – как же я теперь без тебя? А?

Она смотрит на меня и хмурит свой божественный лобик.

– Опять я всё перепутала, надо же. Ну что за наказание!

Она берёт мой стакан и уносит на кухню. Возвращается.

Усаживается рядом. Принимается болтать ногами.

– Давай рассуждать, – начинает серьёзно и деловито, накручивая светлую прядку на палец.

– Давай, – быстро соглашаюсь я и укутываю её прозрачные ножки одеялом.

– Если ты не Нино, значит Нино – не ты. Так?

– Так, – отвечаю я заворожённо. Мне хочется, чтобы наш разговор длился вечно, потому что я уже точно знаю, что в конце она уйдёт.

– Значит, Нино, из тела которой уже растут цветы, сейчас совершенно в другом месте. Верно? – и она взмахивает руками, будто вот-вот улетит.

– Верно, – и я хватаю Агатку за палец, как когда-то, боже мой, как всего пару часов назад, схватила меня за палец она.

– Тогда мне надо срочно уходить, – пигалица высвобождает свой палец, смотрит на меня издали, будто уже ушла. – Но ты не бойся, – она обхватывает меня руками, прижимается, на секунду замирает, – никогда и ничего не бойся. И не забудь про запас добра.

Утром я просыпаюсь совершенно разбитая. Смотрю на себя в зеркало. Сдуваю со лба кудрявую прядь.

Новый день не обещает ничего необычного. Может, потому что время для необычного ещё не пришло. Может, потому что мой запас добра ещё не до конца роздан.

Новый день перетекает в новый вечер. Глаза окон темнеют и набухают дождём.

«Опять шлёпать по лужам», – вздыхаю я.

Закрываю кабинет, оставляю гореть маленькую настольную лампу.

Выхожу на улицу.

– Самые незащитные существа на свете – это собаки и маленькие девочки, – шелестят сумерки.

«Конечно, сумерки, – думаю я. – Потому что больше никому. Пигалица далеко, а собаки разговаривать не умеют».

– Ещё как умеют, – голос обиженный. И немного простуженный.

– Не верю, – говорю я уже вслух и наклоняюсь над грязным существом. Существо дрожит и прижимается к мусорному баку. Его глаза светятся, словно две маленькие настольные лампы.

– Хорошо, – вздыхаю я, – я возьму тебя к себе. Только ты меня не оставь потом, ладно? А то в последнее время меня многие оставляют. Даже Пигалица.

Пёс взвизгивает и приникает мордой к моим ботинкам, тем самым, которые голубые, с дырочками. И Девочка, Которая Внутри, улыбается и машет рукой.

– До скорого, Пигалица Агата, – улыбаюсь я ей в ответ, подхватываю щенка на руки, и захожу в метро.

Дверь захлопывается.

Осень остаётся снаружи.

Глава четвертая

Щенок оказался мужского пола и в тот же вечер получил имя Рома.

Ромой звали моего бывшего мужа, всего несколько лет, как мы расстались, и мне всё ещё было необходимо произносить это имя вслух.

А когда я искупала и привела в более-менее человеческий вид мохнатого чёрно-белого заморыша, то оказалось, что они ещё и похожи.

Рома-щенок оказался таким же обстоятельным и нудным, как и Рома-бывший муж, так же мало говорил, так же быстро заявил на меня свои права.

В первое же утро совместного проживания оказалось, что моя подушка – на самом деле его, что мои тапки – вкуснее, чем всё остальное, что лужи можно и нужно оставлять по всем четырём углам спальни, чтобы пометить свою женщину, то есть территорию.

– А ты, оказывается, нахальный тип, – сказала я утром, на что Рома отозвался довольным урчанием и короткой фразой:

– Лучше скажи, что у нас на завтрак?

Как-то так получалось, что я понимала его язык.

Про щенка и говорить нечего, как и ПигалицаАгата, он мог читать мои мысли.

Я встала с кровати и пошла на кухню варить кофе. Ко-

гда-то это был целый ритуал.

Кофе варил Рома, а я, выйдя из душа в капельках воды (– Вытрись, сейчас же вытрись, – ворчал он, и слова обнимали за плечи), ах, как я начинала нарезать сыр, кружиться по узкой кухне, напевать и смешно фальшивить.

Кофе выпивался на ходу, сыром пахли наши губы, мы разбегались, чтобы встретиться вечером, на плите оставалась тугая джазвочка¹, она покачивала ошпаренными бёдрами и наверняка верховодила в доме, пока мы с Ромой лечили людей.

С годами кофе стал горше, сыр жёстче, губы равнодушной, Рома начал задерживаться на работе без видимых причин, а невидимая причина позвонила мне однажды вечером поздно и сообщила, что она беременна.

К тому времени у нас с Ромой было трое совершенно взрослых и самостоятельных детей, и я предложила ему развод.

Её звали Инна. Она была рыжая, смелая и боролась за моего Ромочку, как тигрица.

Ромочка уходить боялся, разница в двадцать лет и тигриные замашки это, конечно, впечатляет, но только вначале, жить вместе, а тем более жить вместе с тигром – дело непростое, поэтому перед тем как собрать вещи и уйти, Рома ещё некоторое время смотрел на меня своими собачьими глазами, но я была так занята пустотой внутри, что забыла его по-

¹ Джазвочка (жарг.) – произв. от «джезва» (тур. Cezve), турка для варки кофе.

жалеть.

Пустота внутри была похожа на колокол без языка, болталась немо, пока не начала ныть, саднить, побаливать, и оттого принимать форму, цвет и запах, и, в конце концов, заняла место не только внутри, но и снаружи – в прихожей, ванной, спальне, в горшках с цветами и ледяных узорах на окне.

И вот сейчас я встала и пошла на кухню варить кофе одна, без Ромы.

– Как это без Ромы? – вскинулся Рома-щенок и схватил меня за пятку. – Теперь у тебя есть я.

– Точно, – обрадовалась я, и поставила в микроволновку вчерашнюю лапшу.

– Ты поешь, я кофе попью, потом я на работу, а ты дом охраняй, вот только погуляем с утра недолго, ладно? Лучше вечером подольше пошляемся.

Рома был очень даже готов пошляться, он довольно шмыгнул собачьим носом и побежал в прихожую, нашёл мои сапоги, поволок на кухню.

– Погоди, торопыга, – засмеялась я. – Успеем ещё.

До работы целый час с хвостиком.

Рома оглянулся на свой хвостик, сначала не увидел, принялся кружить вокруг собственной оси, нашёл-таки наконец, даже умудрился небожно прикусить.

«Всё-таки ты забавный», – подумала я, и Рома пособачьи кивнул. – Молодец Агатка.

Утренняя прогулка была короткой, холодно, да и на рабо-

ту надо, к вечеру же выпал мокрый снег, а я вернулась такая уставшая, что...

– Что, никуда не пойдём, да? – тоскливо прошептал Рома, и мне стало стыдно.

– Отчего же, – бодро ответила я. – Обязательно пойдём. Подожди, вот только утеплюсь.

Я натянула ещё одну пару штанов, напялила толстые варежки, обмотала шерстяным розовым шарфом шею.

– Пошли, шантрапа, – оглянулась я на Рому, увидела его сияющие глаза и подумала вот так: «Счастье есть. Наверное».

Щенок тявкнул в ответ что-то похожее на: «Ещё бы! Со мной не пропадёшь».

И мы вышли во двор.

То есть вышел Рома. Да так стремительно, что поволок меня за собой без всяких там сантиментов. Моя правая нога смешно вывернулась, несмешно хрустнула, попа нащупала ступеньки крыльца и даже по ним проехала, вжик – и...

Первая мысль: «Господи, сейчас в больницу, а я одета, как чучело».

Вторая: «Ну и за что мне это наказание?».

Третья: «Как быть с Ромой, если всё-таки операция?»

В ответ на мои три мысли, ко мне понеслись тридцать три Ромины – и прости, и ой-ой-ой, и все сюда, на помощь!

Помощь подоспела на удивление быстро.

Чрезвычайно хмурый мужчина невысокого роста, в чёр-

ном пальто нараспашку, длинный шарф, чёрные усы, мохнатая шапка, протягивал мне руку, что-то говорил, пытался снять с себя эту самую шапку и усадить меня на неё, словом, суетился, а я это не люблю.

– Оставьте меня, бога ради, – сморщила я и без того недовольное лицо. – Что вы суетитесь? Никогда не видели падших женщин? То есть, я хотела сказать, падающих?

Мужчина захохотал и сразу перестал быть хмурым и невысоким. Шапке под моей попой стало тепло. На абсолютно лысую голову стали нахально усаживаться снежинки.

Вдруг показалось, что я знаю его всю жизнь.

– А то! – подскочил ко мне Рома, стал лизать в лицо и завилял хвостом так, что стало казаться, что у него их сразу несколько.

– А то! – на всякий случай повторил щенок. – Может, и не всю жизнь, но ведь всё ещё впереди, правда?

Боль куда-то ушла. Может, она испугалась хмурого мужчины?

– Меня зовут Геннадий, – сказал он неожиданным басом, и шапке под попой стало не только тепло, но и уютно.

– Спасибо Агатке, – твякнул Рома, и я перестала стонать.

Оказывается, всё это время я жалобно стонала.

Оказывается, перелом это может быть весело.

Потом. Если поехать в больницу втроём. Мы и поехали.

Ну не оставлять же Рому одного дома.

Надо же... Геннадий.

Интересно, хорошо ли он варит кофе?

Глава пятая

Той зимой у меня на пятках выросли крылышки.

Но это потом, когда сняли гипс. Зато шесть недель с гипсом показались мне лучшими неделями в жизни.

Из-за Геннадия, конечно.

Каждой из нас когда-то встречался по жизни такой вот Геннадий.

– Ах, Рома, Рома, – шепчу я, – и зачем ты тогда ушёл?

Вожу пальцем по замёрзшему окну. Не вытираю слёз.

Я плачу не по Роме. Я плачу по спокойной налаженной жизни, ни взлётов, ни падений, дом – работа, живи – набирай вес.

А что теперь?

Рома-щенок встаёт на задние лапы, передними гладит меня по ногам, цепляется за край халата, будто я его последняя надежда. Последняя надежда на что? На крышу над головой? На вкусную косточку? На любовь?

– Как ты думаешь, что такое – любовь?

Мой вопрос скачет от окна к дивану, как тугий резиновый мяч, промахивается, отскакивает от стены, не задевая мужчину.

Он делает вид, что не слышит. Перебирает струны, наклонив голову к плотному, загорелому телу гитары.

Вот так живёшь, поёшь, крутишься перед зеркалом, ходишь на работу, целуешь бывшего мужа в щёку при встрече, успокаиваешь гормоны сигаретой с ментолом, слушаешь чужие истории болезни, перечёркивая свою собственную жирным и чёрным «у меня всё хорошо».

А потом однажды вечером ломаешь ногу и жизнь, встречаешь своего Геннадия, таешь, как снежная баба. Таешь, как баба. И понимаешь, что ещё и не жила.

Но все Геннадии на свете уже женаты, вот какое дело.

Мужчина поднимает голову от гитары, смотрит на меня. Халат хлопает крыльями, взлетает, уносится прочь.

Рома-щенок обиженно уходит, устраивается на своей подстилке, бормочет про себя: «Ох уж эти ваши брачные игры».

Ему обидно, что я люблю не только его, но и Геннадия.

Ему обидно, что я люблю Геннадия – так. Без памяти, без условий и обещаний. Без угрызений совести и...

– Как ты думаешь, что такое любовь? – спрашиваю я после.

Он пожимает плечами.

– Всего лишь слово, – отвечает. – Не в словах дело.

– А в чём? – вскидываю я голову, отстраняюсь, но все равно держусь за него. Держусь так крепко, что его рука белеет под моими пальцами.

– В том, что ты сейчас закроешь глаза и улетишь, – говорит он и смотрит на меня так, что я действительно...

После беспросветной осени – и такая жаркая зима. Явно

без Агатки не обошлось.

Он приходил каждый день. Первые две недели.

Покупал продукты, варил суп, мыл посуду и меня.

Чёрт, я не знаю, как это объяснить, но я его с первой минуты не стеснялась. Как не стесняются доктора. Или отца. Или...

– Расскажи мне про себя.

В те дни эта фраза звучала в нашем доме чаще всего.

И почему я сейчас написала «в нашем доме»? Не было никакого «нашего дома», как не было «моего мужчины» – он просто не мог быть моим...

Невысокого роста, голос-бас, лысая голова, чёрные усы, господи, спаси меня от.

Какой-то инстинкт, седьмое чувство, вторая душа, не знаю, что именно, диктовала мне мою жизнь в ту жаркую зиму. Ах, нет, это Пигалица-Агата, больше некому. Где ты, малышка? Если бы ты знала, как нужна мне. Если бы только знала.

– Я знаю.

Одинокий Вечер уселся напротив меня, закинул ногу на ногу, достал синюю трубку, вот-вот задымит.

– Агатка, девочка, неужели ты?

Она протискивается между мной и Вечером, кивает Роме, как старому знакомому, забирается ко мне на колени, долго возится, устраивается, затихает.

Я боюсь её спугнуть, сию не шевелясь, глупо улыбаюсь.

– Конечно, я, кто же ещё. Я же обещала приходить иногда.

– Ты обещала приходить, если мне будет трудно. Но как же твоя Нино? Разве ты не нужнее ей, чем мне?

Агатка смотрит на меня сонными глазами.

– Ты добрая, – говорит, – но нет, сейчас ей не нужен никто, даже я. Там, наверху, всё непросто тоже. Зато у меня немного отпуск. И я почувствовала, что ты запуталась. Знаешь что? Расскажи мне про него.

Я улыбаюсь. Больше всего на свете я хочу именно этого. Говорить про него.

Раз уж нельзя говорить с ним.

– Сначала он приходил каждый день. Первые две недели. Покупал продукты, варил суп, мыл посуду и меня. Смешил.

– А потом?

Надо же, как серьёзно она смотрит на меня.

– Потом вернулась его жена. Из отпуска.

– И?

– Он стал приходить совсем ненадолго. Забегать.

Но всё равно каждый день.

– Дальше.

Какой у неё строгий голос. Ещё бы. Я – воровка. Я украли чужого Геннадия. Или это он меня украл? Украл у самой себя. Потому что я уже никогда не стану прежней.

Хорошо это или плохо?

– Это хорошо, – сонно бормочет Агатка, и я подсакиваю от неожиданности.

– Как? Что ты сказала?

– Не волнуйся, – говорит она еле слышно, а может быть, мне только кажется. – Не волнуйся. Всё будет хорошо. Я договарюсь. У меня там связи.

И она тычет пальчиком вверх, показывая на ТАМ.

Вечер дышит на окна, Рома повизгивает во сне, перебирает лапами, гоняясь за соседским котом, Агатка засыпает у меня под боком.

Я одна не сплю. Я заблудилась. Заблудилась не от слова блуд, от слова любовь.

Вот и мужчина моей мечты утверждает, что любовь – всего лишь слово.

Ни на хлеб не намазать, ни в карман положить.

Разве что завернуться в него, как вот в этот мохнатый плед, вцепиться побелевшими пальцами и улететь.

Туда, где тоже непросто, туда, где Нино и сотни тысяч Агаток, но ни одного Геннадия.

... Будильник голосит, как потерявшаяся птица.

Хорошо, что люди ходят на работу. Можно отвлечься на обычную жизнь. Часов на восемь. А выходные отменить. Правда, пигалица?

Но Агатка уже ушла. Рома сидит у двери с моим сапогом в зубах. Я ещё прихрамываю, но уже бодрее, чем раньше.

– Пошли, разбойник, – улыбаюсь я ему. – Пошляемся.

И Рома от радости выскакивает из своей шкурки.

Глава шестая

Я стала чаще обычного вспоминать рыжую Инну. Она представляется мне сильной, смелой, похожей на голодную тигрицу, в то время как я выгляжу жалкой и убогой, словно поджатый собачий хвост.

Пришли новогодние праздники, Генка приволок мне настоящую ёлку, мы даже украсили её вместе, а потом он умчался домой, к жене и кошкам. У них дома живут три кошки – Вера, Надя, Люба, а ещё попугай Соня. Кошки совсем глупые, но добрые, а Соня – он мальчик, но очень любит спать, отсюда и прозвище. Ещё Соня любит болтать, потому что он попугай Жако, я про таких и не знала. Генка нашёл его пару лет назад в подъезде своего дома, на левой лапке у Сони не хватало двух пальцев.

– Отгрыз, – объяснил мне мой любимый, покусывая моё левое ухо. – Сидел, сидел на цепи, а потом надоело, захотел на свободу.

– Как ты? – спрашиваю я, но Генка делает вид, что не слышит. Он не собирается отгрызать себе пальцы.

А я бы вот отгрызла. Наверное, потому что тоже немного тигрица.

Детей у Генки с женой нет, зато есть огромное количество племянников и племянниц, я очень быстро запомнила их имена, я вообще очень быстро вошла в эту семью, узнала

их истории, секреты и анекдоты, даже смешные прозвища, стала своя, так мне кажется. Так мне хочется. Вот только жена. Она во всей этой истории совсем некстати. Её зовут Зоя.

– Видишь, какая я плохая девочка? – однажды спросила я Агатку, употребив совершенно другое слово.

Она в ответ только фыркнула. И хотя в эти праздничные дни она стала приходить особенно часто, я видела, что ей совсем не до меня. Её беспокоила Нино.

После смерти бедная Нино никак не могла устроиться там, наверху. Я так и не знаю точно, как называется это место. Не рай – точно. Слишком уж беспокойно. Но и не ад. Слишком солнечно.

Агатка постепенно рассказывает мне про ТАМ, но я не всегда ей верю. Мне кажется, она просто пытается отвлечь меня от Генки. Теперь я зову его Генка. Чтобы ещё ближе, да.

Агатка утверждает, что весь мир похож на одно большое яйцо. Будто наша вселенная – это желток, а все что НАД и ВОКРУГ, типа, белок. Там всегда светло и тепло, а главное этого и нет ничего. Хотя, нет, есть ещё одна хитрая штука.

Будто каждый из нас после смерти в этот белок попадает, и вот тут-то и начинается самое невероятное. Человек начинает чувствовать за другого. За каждого, кому он когда-либо сделал что-то хорошее. Или плохое. Например, если ты пнул собаку со злости, то становишься этой самой собакой, и получаешь столько пинков, сколько заслужил, иногда – неме-

рено. И наоборот – защитил девушку от пьяного, становишься этой самой девушкой, и такой восторг от чуда спасения, что летаешь.

Получается, все люди в этом самом белке находятся или в состоянии восторга, или в состоянии ужаса, что, согласитесь, утомительно чрезвычайно. И непонятно сколько времени. Видимо, пока не расплатятся за все добрые и злые дела, так что ли?

Я не очень-то верю во все эти переселения душ, но мне интересно.

– Понимаешь, – говорит Агатка, уплетая кружевные блины с маком, – Там, конечно, чудесно, и всё такое, но Нино очень трудно привыкнуть к тому, что в любой момент она может оказаться внутри другого человека. Надо было мне заранее к ней наведаться, ещё до смерти, ведь бывает, что мы, Агатки, даём подготовительные курсы.

– А чего там привыкать? – позёвываю я, убирая посуду со стола.

Луна лезет в окно, уже перевалила своё пышное тело через подоконник, вот-вот упадёт белым лицом в сметану. Блин сворачивается в трубочку, макается в сметану с Луной на доньшке, отправляется Агатке в рот.

Эта миниатюрная пигалица ужасно любит мои блины, а я люблю её баловать. Потому что любить и баловать – одно и то же – это мне сейчас пришло в голову, и я, пожалуй, это запишу.

– Дело в том, что Нино в жизни натворила много глупостей, – качает она головой. Она качает головой так, что рыжие кудряшки подпрыгивают, – и теперь ей непросто. За всё надо платить, понимаешь? Чтобы потом, когда попадёшь наконец на Маковые Поля...

И Агатка начинает с упоением рассказывать про Маковые Поля, которые и есть, по её словам, настоящее счастье.

«В каждой из нас есть немного рыжего, немного тигрицы», – думаю я, глядя на её кудряшки, и улыбаюсь.

Судьба бедной Нино волнует меня куда меньше моей. Хотя попробовать пожить за другого было бы интересно. Например...

Меня обдаёт жаром, а потом холодом.

Например – за Зою. Я представляю себе трёх кошек, просторную кухню, полотняный передник с петухами, говорящего попугая. А ещё – я представляю себе Генку совсем рядом. И каждый день. Ну-ка, нука, что там говорит эта девчушка?

– Посуди сама, – продолжает Агатка. – Нино в прошлом сделала целых три аборта.

Девочка передёргивает плечами, съёживается. – Не хотела бы я сейчас быть на её месте. И ведь ничем не могу помочь, понимаешь?

Она возит последним блином по тарелке. И такая бледная вдруг.

Я беру Агатку на руки, несу в ванну, купаю, вытираю,

укладываю, баюкаю, но она никак не убаюкается.

– И зачем я не пришла к ней раньше? – шепчет моя маленькая девочка. – Пришла бы, предупредила.

Вечно я опаздываю.

– Зато ты не опоздала ко мне, – улыбаюсь я.

Хмурится.

– Что не так, пигалица моя? – спрашиваю я нежно.

– Всё так, всё так, – бормочет она. И, после долгой паузы:

– Скажи, а может, это всё неслучайно?

– Что неслучайно?

– То, что мы встретились? Может, мы для того и встретились, чтобы я исправила то, что мне не удалось исправить с Нино?

– Очень может быть, – говорю я спокойно, но спокойствие моё похоже на кожуцу вулкана – вот-вот затрещит и разорвётся.

– Ты-то тоже хороша, – ворчит Агатка, и я согласно киваю, лишь бы не спугнуть поток её недетских мыслей. – И дался тебе этот Геннадий.

Она поднимает голову, смотрит на меня прозрачно, будто читает всё мои мысли, даже эти, да.

Потом вздыхает, совсем как взрослая, и:

– Ладно, давай попробуем. Я помогу тебе, может, это убережёт тебя от новых глупостей. Но учти, вся ответственность на тебе, договорились?

Я хватаю её в охапку и начинаю кружиться по комнате.

Комната кружится тоже.

Ромка смотрит на нас заворожённо. Он тоже всё понял, и он не против, наоборот.

– Договорились, договорились! – смеётся он, изо всей своей щенячьей радости.

Свет гаснет.

Я проваливаюсь в чужую жизнь.

Глава седьмая

– Где же фартук? Господи, вечно всё теряю. Да и бог с ним, с фартуком. Пора накрывать на стол. Геночка придёт через полчаса. Всё должно быть готово. Так... Селёдка, икра, оливье. Оливье. Вот дура, опять забыла, он же сказал – только без картошки. Ну, не вытаскивать же теперь. Или вытаскивать?

Мне кажется, будто я вижу себя со стороны. Полная женщина, бледные губы, густые брови. Она стоит посреди кухни и бормочет, приложив руки к груди, сжав этими самыми руками никому ненужный передник.

– А почему без картошки? Вот скажите на милость, почему без картошки? Вытащу. И ничего он не поправился. А живот – ну и что, что живот. У каждого мужчины есть живот. Кто сказал, что мужчина под шестьдесят должен быть без живота? Если у мужчины достойный живот, значит и жена у него достойная. А если живот присох к хребту, это зна-

чит... Это значит – что?

Женщина хмурится, брови её сначала взлетают, потом сходятся у переносицы, мысли начинают бежать быстрее, чтобы, наконец, понять что-то важное, вот только что промелькнуло, что же это было, а?

И непонятно, чьи же это мысли – её, или мои, и что я делаю внутри этой самой Зои тоже непонятно.

Да, записался в спортзал. Да, оливье без картошки. Да, задерживается по вечерам. Но где? Где? Где же этот чёртов фартук?

Звонок. Боже мой, ничего не успела.

– Геночка, ты? А что такой хмурый? А почему раньше, чем обещал? Случилось что?

– Ничего не случилось.

Бурчит. Вроде всё, как всегда. Вечно я со своими расспросами. Ну, раньше и раньше – радуйся. Тридцать лет уже женаты. Чего, спрашивается, пристала? Вон как в кино показывают – надо обнять, прижаться, будто давно не виделись, поднять к нему лицо...

Так мы же виделись совсем недавно. Утром. И лицо у меня от кухни потное. Ой, мамочки! Я ж ещё и не накрасилась. Новый Год скоро, а я тут чучелом хожу.

– Ген, а Ген! Ты надолго в ванную? Когда за стол будем садиться? Скоро концерт Галкина, учти.

– Сейчас. Ещё пять минут. Дай лицо ополоснуть.

Лицо ополоснуть. Пришёл – будто без лица. Опрокинутый

весь. Может, на работе что? Наверняка на работе. Не буду приставать. Сейчас накрашусь, платье новое надену. Только бы влезть. Ничего, влезу. Или?

Женщина, а значит, и я вместе с ней, – мы уходим в спальню, она достаёт из шкафа яркое платье, просовывает в него голову, плечо, другое.

– Ой, кажется лопнуло. Что за треск сзади? Ген, а Ген? Ты можешь подойти?

– Ну, вот я, вот. Чего ты хотела?

Он вытирает лицо полотенцем. И вправду похудел за последние несколько месяцев. Как же я его... – Поцелуй меня.

Чмокнул. Её или меня? Отошёл. Всё ведь, как раньше, правда? Но отчего так тревожно?

Ой, про платье забыла.

– Геночка, подойди ещё раз. Прости, что тебя дёргаю. Можешь посмотреть, что с этим платьем? Вроде влезла, а на спине что-то не так. Погляди, вот здесь, а?

– Лопнуло твоё платье. А ведь ты его почти и не носила. Говорил я тебе, садись на диету.

– Лопнуло? Да как же так? Не может быть. На диету? Я не помню, чтобы говорил. Но если надо – то я сяду на диету, почему нет. Слышишь? Вот сразу после Нового Года и сяду.

Не слышит. Опять к своему компьютеру пошёл. И ничего он не говорил про диету. Я бы запомнила. А ведь и правда – поправилась я. Но это нормально – все поправляются с возрастом. Или не все? Я же не артистка. И не разведёнка ка-

кая. Всё-таки, нет ничего лучше сытой налаженной жизни. Просто надо картошку в оливье не класть. Не буду. Больше не буду. А ту, что уже положила – потихоньку вытащу. Сейчас, только из платья этого вылезу, и на кухню вернусь. Бог с ним, с платьем-то. Юбку надену. И кофту белую. Белое полнит. Тогда серую. И колготки серые, как раз недавно купила, тонкие, чуть серебряные будто. Красиво. А ведь когда-то Геночка говорил, что я красивая.

Женщина с досадой смотрит на только что снятое платье. Достает с нижней полки колготки. Опускает голову. Её мысли бегут неровно, нервно, тяжело.

– Когда же всё это было? Кажется, только вчера поженились. А теперь – как чужие. У меня телевизор, у него компьютер, только ужинаем вместе иногда, но когда едим – молчим. Да о чём же говорить? Всё и так понятно.

Нашёл он себе кого-то, вот что понятно. Как пить дать нашёл. Я её внутри себя чувствую, эту суку. Сука и есть. Сука – жена кобеля.

Повеситься, что ли? Грех, даже мысли такие грех. Но я же не по-настоящему думаю. Я же в шутку. Да и какая верёвка меня дуру теперь выдержит? Лопнет, вон как платье на спине. Упаду – зарёванная, толстая, некрасивая. Смешно. Да и упаду некрасиво, неуклюже, ногу обязательно ушибу или плечо. А может, и не просто ушибу. Может, сломаю.

А хорошо бы было на самом деле ногу сломать.

Так, чтобы по-настоящему. С хрустом. Чтобы заорать от

боли. Чтобы он крика этого испугался и прибежал. Прибежал, увидел, что мне больно и... И что?

Женщина начинает натягивать колготки. По щекам её катятся слезы. Я чувствую, что они не солёные, а горькие, как наши с ней мысли.

– И пожалел бы. Любить – значит жалеть. Не раздражаться, не отворачиваться, не молчать. Жалеть, прижимать к себе, проговаривать непривычные слова.

Те, которые давным-давно не проговаривались. Вот как сломаю, как заору... Прибежит? Или нет?

Но разве можно не прибежать к женщине со сломанной ногой? Даже к такой надоевшей, как я?

Неужели я ему надоела? А как проверить? Разве что действительно ногу сломать. Разве что.

Но бывает ли так, чтоб нарочно ногу сломать? А если богу помолиться? Часто ли его женщины о таком просят?

– Зоя! Ну ты идёшь или нет? Сколько можно собираться? Всё-таки ты ужасная копуша.

– Иду, Геночка! Иду.

Женщина закусывает губу от досады. Закусывает так, что мне тоже становится больно.

– Копуша. Копуша и есть. Надо же – в собственных колготках запуталась. Это оттого, что волнуюсь. А волнуюсь потому, что Геночка в последнее время не такой, как раньше. Или это мне всё кажется? Или не в последнее время, а давным-давно? Только бы он меньше на меня раздражался.

Только бы... Ах! Чёрт, чёрт, господи, как же так?

Зоя пошатывается, теряет равновесие, падает, я слышу хруст, оседаю вместе с ней на пол.

Комната кружится, наваливается на меня болью, картинки мелькают перед глазами: вот Зоя с Геночкой в ЗАГСе, вот на берегу моря, вот в лесу, смеются, хохочут даже, поглядите – у них полная корзина пузатых белых грибов, а дух грибной такой родной, такой... Вот Зоя в больнице после первого выкидыша, а он рядом сидит, за руку её держит, в глазах непролитые слёзы.

Мысли вдруг успокаиваются, идут медленно, держат друг друга за руки.

– Ну и что, что детей нет. Он мой ребёнок, а я его. Только бы приласкал. Только бы ещё раз приласкал. Только бы всегда рядом.

Чтобы ночью прижаться к его груди, затихнуть, слушать, как дышит.

Отчего так кружится комната? И почему я не кричу? Или я кричу, просто Геночка меня не слышит? Не слышит, или не хочет? А может, он давным-давно от меня ушёл? К той, которая никогда не падает, не запутывается, не ломает свою дурацкую ногу.

– Геночка! Геночка! Где ты?

– Я тут. Я тут, моя сладкая. Отчего ты кричишь, Нинушка? Нинелька-Апрелька моя. Что случилось?

Комната прекращает кружиться, стены встают на своё ме-

сто. Нет ни чужой кухни, ни потерянного передника, ни полной испуганной женщины с бледными губами.

Я сижу на диване, Генка обнимает меня и прижимает к своей груди, зовёт таким знакомым именем, неважно чьим, самое главное, что он со мной, со мной, со мной.

Но тогда кто сейчас с Зоей?

Глава восьмая

– Эй, ты чего кричишь, а? Ну не кричи, пожалуйста, а то мне страшно.

Я с трудом сажусь в кровати, разлепляю вчерашние глаза. Вчерашние – потому что заплаканные. Потому что до сегодняшних – счастливых – ещё дожить надо.

Перед кроватью сидит Ромка, он поджал свой маленький хвост, вид у него жалобный.

Я протягиваю руку, провожу рукой по короткой жёсткой шерсти, чтобы понять – в своей ли я жизни на самом деле.

– А где Агатка? – спрашиваю неспросувшимся голосом.

– На кухне, – отвечает он и начинает счастливо вертеть хвостом и приседать. – Мы с ней испугались, что ты кричишь во сне, она пошла тебе молоко с мёдом греть.

– Это ещё зачем? – я вытягиваю шею, чтобы хотя бы краешком глаза увидеть, чем занимается эта пигалица на кухне.

– Она сказала, что тебе надо что-то там забыть. Какую-то нелепую Зою.

– Отчего же нелепую, – усмехаюсь я. – Она не более нелепа, чем я.

– Ну, значит, не нелепую, – быстро соглашается Рома и пытается запрыгнуть ко мне в кровать. – Давай лучше поиграем, а?

Я глажу его по спинке, кручу уши, пропуская их между пальцев, вспоминаю то, что забыть невозможно.

– Привет, – говорит Агатка, и голос её виноватый.

Она сегодня прозрачнее, чем обычно. И глаза грустные. Совсем вчерашние глаза.

Агатка скидывает голубые башмачки, усаживается на край кровати, я укутываю её озябшие ножки, обхватываю личико ладонями.

– Погоди меня любить, – говорит она серьёзным голосом. – Сначала выпей вот это.

В её руках моя любимая чашка с райской птицей, от чашки идёт пар, молоко с маленькими солнышками масла покачивается, вздыхает, просится в рот.

– Чего ты там намешала? – спрашиваю я с подозрением.

– Пей, не бойся, – она вздыхает. – Рецепт совсем простой – молоко, мёд, масло, мята.

– Мята? – удивляюсь я.

– Ну мята, мята. По-нашему – трава забвения.

Я отпихиваю от себя чашку, смотрю на неё строго.

– Не хочу забвения. Хочу – как ты. Всё помнить.

– Что ты, что ты, – машет она на меня испуганно руками. –

Как я – нельзя. Совсем нельзя. Пей говорю.

– Но мы так не договаривались, – пытаюсь сопротивляться я.

– А мы вообще не договаривались. Пей.

Мне кажется, будто я слышу мамин голос. Пью. Сворачиваюсь калачиком, почти, как Рома. Скорее бы заснуть. Скорее бы забыть. Потому что, если нет...

– Скажи, а кто сейчас с Зоей? Она не одна? Генка о ней заботится? – я поднимаю голову, с тревогой оглядываюсь вокруг.

– Заботится, заботится, – ворчит моя пигалица. – Ты спать собираешься?

За окном так темно – хоть перо мажай, сплошная чернильница. Ромка спит у меня на подушке. Агатка допивает молоко из райской чашки, смотрит на меня не мигая.

– Ей не очень больно?

– Не очень. Ей, если хочешь знать, совсем не больно.

– Вот и хорошо, – киваю я. Задумываюсь. – Знаешь, эта Зоя... Она красивая. Только очень уж в себе не уверена. Это из-за него, да?

– Не знаю, – равнодушно бросает Агатка. – У неё своя Агатка есть, вот пусть и беспокоится. А то разленилась, понимаешь.

– Кто разленился? – оживляюсь я. И сна у меня – ни в одном глазу, между прочим.

– Агатка её – вот кто. Тюха. Тюха и есть, – Пигалица сердито машет рукой. – Среди нас, Агатов, редко такие встречаются.

– Тюха? – я снова сажусь в кровати, готовая болтать хоть до рассвета. – А кто это?

– Так, я, пожалуй, снова за молоком пойду, – бубнит Агатка, но я умоляюще смотрю на неё:

– Не надо. Сама ведь видишь – не помогает мне ни мята, ни молоко. Не забуду я Зою, теперь уже, видно, никогда. Она во мне навсегда поселилась. Или я в ней. Пусть не целиком, пусть малая капля, а никуда не деться. Может, это оттого, что мы с ней одного и того же мужчину любим?

Она пожимает плечами, ставит пустую чашку на блюдце, усаживается поудобнее.

– Не знаю. Я про вашу любовь не понимаю, поэтому ничего сказать не могу.

– Как это про любовь не понимаешь? И что значит «вашу»? – последние остатки сна улетают, будто пар из носика чайника. – Любовь – она любовь и есть.

– А вот так, – Агатка опускает голову, принимается разглаживать одеяло на коленях. – Ваша любовь – она разная. Сколько людей, столько и любовей. Потому что вы, если любите, то берёте. Кто сколько может. У нас, у Агатов, всё по-другому. Мы – если любим – отдаём. А любим мы – без если. Понимаешь разницу?

Я не понимаю, но мне стыдно в этом признаться. Мне

стыдно, что ребёнок, пигалица, знает что-то такое, что делает её мудрее, чем я.

– Ну хорошо, – говорю я, чтобы сменить тему. – А кто такие Тюхи?

– Тюхи? – снисходительно улыбается мне пигалица.

– Тюхи – это ленивые Агатки. Леня приводит к зависти, и Агатка превращается в нечто среднее между Агаткой и человеком. То есть в тюху. Настоящим же Агаткам на леня и зависть времени жалко. Ведь вечность – это так мало и так прекрасно.

И она смотрит на меня довольная, будто думает, что теперь-то мне всё станет ясно.

Я обдумываю её слова, пробую в них разобраться, как в головоломке. Значит, Агатка может стать человеком. Ну, если не совсем, то почти. Кажется, что мне не хватает всего одной детали, вот-вот её за хвост схвачу, и тогда мне станет всё понятно не только про ТАМ, но и про ЗДЕСЬ.

– Скажи, а случилось когда-нибудь наоборот?

Она смотрит на меня строго.

– Ты хочешь знать, становился ли когда-нибудь человек Агаткой?

– Да.

Часы остановились, прислушиваясь к ответу пигалицы.

Она тяжело вздыхает.

– Каждая Агатка об этом мечтает. Мечтает, чтобы та, которую она сторожит и оберегает, превратилась в такую же,

как она. Чтобы всё знала, всё помнила, всё прощала. Главное – всё прощала.

– Главное – для чего?

– Ну как ты не понимаешь? – и она смотрит на меня с величайшей досадой. – Для того, чтобы взяться за руки и убежать в поля.

– В поля?

– Ага, – она мечтательно заводит глаза к потолку. – Потому что там, – и Агатка взмахивает своей прозрачной рукой, – далеко за облаками, где кончаются и желток, и белок, начинаются Маковые Поля. Но по одному туда не пускают. Только вдвоём. И то – если за руки держаться.

И она смотрит на меня так озорно, так весело, что я понимаю, что всё это мне только что приснилось, что за окном – утро нового года, что солнце заливает комнату мёдом, а молоко разлито по пакетам облаков, что мятой пахнут твои руки, и... – Генка! Ты? Ты пришёл.

Мужчина, которого я люблю так сильно, как могут любить только две женщины сразу, наклоняется ко мне, принимает и шепчет так горячо, что я таю ещё до наступления весны:

– С новым годом, радость моя. С новым счастьем. Как же я тебя лю...

Я бы рада протянуть руки и прижать его голову к своей груди.

Но мне мешает лопнувшее на спине платье. И этот фартик, полотняный, с петухами который никак не желает най-

тись. Ну куда я его подевала, скажите на милость?

Я отстраняюсь от Генки, хмурюсь от сознания собственной беспомощности и спрашиваю:

– Скажи, Геночка. Ты наших кошек уже на балкон погулять выпускал? А Соне корму задал? Потому что если нет, то он, как всегда, скоро проснётся и голосить начнёт: Зоя, Зоя. Оно тебе надо?

Комната разлетается на тысячу мелких осколков, только Генкино лицо – удивлённое и беспомощное лицо влюблённого мужчины, кружится передо мной – словно обгорелый листок бумаги – ещё один круг, ещё. Кружится, пока я не произношу единственно возможные слова:

– Генка, любимый мой! Нам надо расстаться.

– Как расстаться? Почему расстаться? – спрашивает родное лицо перед тем, как упасть и рассыпаться.

– Потому что любить – это отдавать, – отвечаю я помертвевшими губами.

И ухожу на кухню искать передник.

Глава девятая

Весны и лета в том году не было.

А может, я их не запомнила. Утром работа – пациент за пациентом, вечером – новая книга – вон она – мечется по квартире, хлопает крыльями, роняет перья слов, только успевай записывать. Книги – они всегда похожи на птиц. Орлы,

страусы, цыплята табака.

Эта была ласточкой.

В ней поселилась вся моя тоска по Генке, такая тоска, что хоть умри, а легче не станет. Легче не стало, но зато не оставалось свободного времени, чтобы себя жалеть.

Вот я сижу на кухне, слушаю шелест её крыльев, перевожу на человеческий язык, даже в окно забываю выглядывать.

И слава богу. За окном каждый вечер одна и та же картина – сумерки обнимают мокрые от слёз дома.

Только декорации меняются – то снег забьётся в рукава улицы, то дождь смывает краску со щёк деревьев, то небо в лужах, то лужи в небе.

А персонажи – одни те же.

Каждый вечер он выводит её гулять. Сначала в инвалидной коляске, потому что нога в гипсе. Потом с костылями, потому что гипс сняли, а наступать больно. Дальше проще – с палочкой. Ах, эта палочкавыручалочка. Если бы я была Зоя... А ведь была, была! Я бы эту палочку в жизни бы не оставила. Всегда бы при себе на всякий случай держала.

Палочка похожа на перебитое крыло. Женщина – на птицу. Мужчина на Генку. Я на дуру.

Потому что каждый вечер задёргиваю шторы, прячу глаза в горящий экран компьютера, а сама нетнет, да вскочу, подойду к окну, выгляну потихоньку, и ах – сердце упадёт, покатится, ударится, превратится в камень. Камень моих воспоминаний. Тот, который мне ещё катить и катить. В гору.

Потому что сама виновата.

– Хоть бы собаку себе завела, – ворчит Ромабывший муж, забегая раз в неделю проведать. Такая у них с нашими детьми договорённость – проведывать меня. Будто я в нашей семье самая маленькая и беспомощная. А это вовсе не так.

Просто, когда теряешь Генку, вернее, не теряешь, а отдаёшь обратно, так пусто становится внутри, что в эту пустоту пихаешь всё, что попадает, но ничего не попадает, хватаешь руками воздух, да только ни воздух, ни Генку ухватить нельзя. Или можно? Или я одна такая растеряпа, то есть – растяпа и растеряха вместе.

Вон и Ромка с Агаткой – тоже растворились в зимнем тумане.

Но тут совсем другое дело, тут всё понятно – если Агатка не со мной, значит она с Нино, ведь Нино в любом случае тяжелее, чем мне, хотя, это тоже ещё вопрос.

А Ромка – что с него взять, за пигалицей увязался, вот как только она стала собираться, как только ножку свою в голубом башмачке на подоконник, заляпанный мокрым снегом поставила, так и заскулил, заметался. Ещё бы – я же понимаю, что они одной породы. Той самой – Агатковой. Им друг с другом сподручнее. К тому же, собаку обидеть ещё легче, чем женщину. Собакам Агатки тоже, знаете ли, нужны.

А мне? Мне нужен Генка. Вот как небо. Но неба хватает на всех, а Генки не хватает даже на бедную Зою. Как там её нога? Надеюсь, что зажила. Это только сердце никогда не

заживает.

Рома-бывший муж иногда забегал, ни о чём не спрашивал, видел, что я на лицо опавшая и серая, но что тут скажешь. Прибежит, сумку с продуктами оставит, чмокнет в затылок, склонённый над рукописью и ага.

Инка его рыжая должна была скоро рожать. Поэтому ему тоже было не до разговоров.

Хоть она и тигрица и всё такое, но мне было понятно, что Инке уже за тридцать, и что поздний ребёнок – ещё одна отчаянная попытка прилепить к себе моего бывшего, да так крепко, чтобы уж до смерти не отлепился.

Правда, Ромочка отлепляться не собирался, видно ему с этой самой Инкой было лучше, чем со мной. А может быть, дело в том, что он у неё ничего не забирал, а наоборот, отдавал? Ведь когда всё отдашь, уже и уходить не захочешь. Ах, права, права была моя дорогая пигалица, впрочем, я и не сомневалась.

Вот только мы с Генкой были исключением из правила. Отдавали себя друг другу, отдавали, да так ни с чем и остались.

Может быть, оттого, что Зое он был нужен больше?

Но что значит «больше»?

И что это странное чувство, когда не можешь без человека дышать?

Весны и лета в том году не было, а как наступила осень,

книга была закончена, и стало мне грустно, так грустно, что беззащитно, тут-то я и вспомнила, что самые беззащитные на свете существа – это собаки и...

– И маленькие девочки!

Агатка стоит на пороге, к её ноге прижался Ромка, оба мокрые, грязные. И где только их носило?!

– И где только вас носило? – шепчу я, задыхаясь от объятий, смешков и поцелуев.

Они рассказывают мне наперебой, глотают слова и целые предложения, и только много позже, когда и пёс и ребёнок выкупаны, высушены, накормлены, когда я гляжу с умилением на них обоих, прыгающих от радости по моей кровати, с криками: «Маковые Поля, Маковые Поля», до меня начинает доходить то, о чём они мне пытались втолковать с самого порога.

Оказывается... Вы не поверите – но меня приняли! Меня приняли в Агатки.

Уж не знаю, какие канцелярские препоны и какие небесные волокиты пришлось преодолеть моей несравненной Агатке, но сейчас она сияла, будто медный таз, начищенный до блеска заботливыми руками.

Ах, как же приятно о ней заботиться! Как же я полюбила эту пигалицу! Так полюбила, что сама превратилась в такую же, как она – бесстрашную и беззащитную одновременно.

Итак, я тоже буду Агаткой. И у меня тоже будет своя подопечная. И я ей буду помогать, а то. А в свободное от работы

время, мы будем разгуливать все вместе по неведомым Маковым Полям, и...

– Погоди-ка, – пытаюсь я докричаться до прыгающей Агатки. – Погоди-ка. А как же здешняя жизнь? У меня работа, квартира, дети, какой-никакой Ромабывший муж. Кстати, забыла тебе рассказать – его Инка скоро родит, если уже не.

– Уже – да, – говорит мне Агатка и перестаёт прыгать. – Собственно, поэтому я и пришла.

Она вдруг становится серьёзной. Такой серьёзной, что я пугаюсь.

– Говори, ну, – шепчут мои губы.

– Тебе придётся побыть её Агаткой. Инкиной, – говорит мне Пигалица. – Потому что она вчера умерла.

Врачи что-то объясняли, да я не поняла.

– А ребёнок? – в голосе моем ужас.

– Ребёнок? Ах, да, с ребёнком всё в порядке. Девочка. Симпатыга, рыжая. Из наших будет!

И снова комната кружится передо мной, а вместе с ней кружатся храбрая маленькая девочка, добрая говорящая собака и я – женщина неопределённого возраста с очень определённым желанием прижаться как можно крепче и как можно скорее к Генкиной груди и зареветь.

Но не я пишу этот сценарий, а жизнь.

Поэтому слёзы мы отложим до лучших времён – и вот уже в дорожную сумку летят зубная паста, тапки с помпонами, чашка с райской птицей, пижама с мишками, ну а что ещё

надо Агатке?

Комната кружится и кружится, и я начинаю кружиться вместе с ней, и кажется, даже немного лечу.

Лечу и реву. Инка, Инка... Ну как же так, а?

Эпилог

С того памятного вечера прошло шесть лет.

Девочку назвали Анютой.

Я её люблю больше жизни.

Больше Генки? Не знаю. Чтобы знать наверняка, надо сравнивать. А сравнивать не с чем, мне не досталось его любить. Я имею в виду, любить вплотную, так чтобы наши поверхности не только соприкоснулись, эка невидаль. Чтобы они притёрлись, но при этом не протёрлись, а засверкали.

Этого не произошло, поэтому иногда мне кажется, что я люблю Анюту и вместо него тоже.

Вся моя нежность – ей, а это ой, как много.

Слишком много для одного Геннадия. А для ребёнка – в самый раз.

Вы, конечно, можете спросить, а как же утверждение меня на должность Агатки? Неужели небесная канцелярия опростоволосилась, неужели я пренебрегаю такой замечательной возможностью выбиться в люди. В смысле, в Пигалицы?

Конечно, нет.

Просто быть Агаткой – это не то, что вы подумали.

Быть Агаткой – это устраивать похороны, утешать своего бывшего в его великой скорби, съехаться с ним ради ребёнка, и в один прекрасный момент понять, что бывший становится тебе тоже немного ребёнком, с мужчинами всегда так.

Быть Агаткой – это отменять пациентов на шесть месяцев вперёд, потому что за новорождённой нужен уход, валиться с ног от усталости каждое утро и каждый вечер, закусывать губы от мыслей, что никто не целует эти самые губы, и тут же забывать, отчего тебе так больно, услышав первое «агу».

Быть Агаткой – это не спать ночами, укачивая чужого младенца, разводить молочные смеси, даже не пытаюсь вспомнить, когда сама ела в последний раз, втаскивать коляску на пятый этаж без лифта, вытаскивать её же из багажника, выгуливать чудесного пупса каждый день по два часа, невзирая на погоду, высиживать очереди к детскому врачу, замирать от страха, глядя то на красный столбик градусника, то на побледневшее личико.

– А как же Маковые Поля? – спросите вы. – А как же гулять и вплетать цветы в рыжие кудри?

Что же, скажу по секрету. И это случится, но потом. Пока что – лишком много забот, тех самых, которые держат нас за верёвочки и не дают улететь.

Тех самых, которые оберегают нас от самих себя.

Потому что самые беззащитные существа на свете – это собаки и...

– Маленькие девочки! – кричит Аня и бежит ко мне

навстречу, распахнув объятия, в которых все Маковые Поля на свете.

Комната начинает кружиться.

Интересно – что произойдёт на этот раз?

Жена писателя

Глава первая

«Есть искусство высокое, а есть высоковольтное. Например, быть женой писателя. Не пробовали?» Она поднимает голову, смотрит в окно.

Ручка выскальзывает из пальцев, катится по столу, падает на пол.

Кошка по имени Нью открывает круглый жёлтый глаз, готовый покатиться за ручкой хоть на край света.

Кончик хвоста качается как маятник, замирает.

Время останавливается.

Ирис красива. Ирис похожа на осень.

Её тонкие волосы вьются на висках и светятся медно.

Когда она запрокидывает голову и утробно кричит, кажется, что крик её тоже меден.

Она запрокидывает голову и кричит, всегда, когда Семочка, её муж-писатель, вспоминает, что он женат и приходит под утро в её спальню.

У Семочки кадык на шее и жилистые руки. Он русский. Он зовёт её Ириска.

Объясняет, что ириска, это такая конфета, которую можно класть под язык.

Свою Ириску писатель кладёт под язык очень редко.

– Тебе ведь хорошо, было хорошо? – спрашивает он, потом, после тех самых утробных криков.

Не спрашивает, а утверждает.

Женщина прищуривается, смотрит в окно, убирает медный завиток за ухо.

Она вспоминает, насколько ей было хорошо в последний раз, как давно этот последний раз был, и не стоит ли позвонить Стиву?

Стив работает менеджером у них в журнале, давно поглядывает на Ирис голодными глазами и наверняка умеет обращаться с ирисками.

В остальном, он такой же, как и все.

Но не такой, как Семочка.

Таких, как Семочка больше нет.

Иногда и самого Семочки нет.

Во всяком случае, ей часто так кажется.

Вот и сейчас, он настолько ушёл в свой новый роман, настолько в него нырнул, что стал частью этого проклятого Вавилона.

Роман так и называется «Вавилон» и главный герой романа, представьте себе, ослик.

Ах, нет, не так.

Ослик.

Есть в книге ещё городской сумасшедший Оникс и мастер Гор, есть Башня и Библиотека.

Есть жара, она переливается через край романа и иногда заполняет собой даже этот ветхий дом, сползает по ступеням в сад, и тогда слабое осеннее солнце начинает светить сильнее, так, что режет глаза.

До слез.

Ирис ненавидит все, что касается Вавилона, глиняных табличек, бирюзового Ефрата и средиземноморского солнца.

Особенно она ненавидит пронзительный ослиный крик, похожий на звонок Сёмочкиного будильника.

Сегодня, как и всегда, когда у Сёмочки «идёт роман» будильник завопил по ослиному в половине пятого утра.

Семочка вскочил как ошпаренный, прошлёпал на кухню, заварил свой чефир, подхватил чашку и сахарницу, вышел из дома. Хлопнула дверь веранды.

С тех самых пор Ирис не спит.

Когда осень, утро и прилив, особенно хочется ласки.

Сначала она ворочалась, потом все-таки встала. Приняла душ, накинула уютный халат. Пошла на кухню, покрутилась, выпила кофе. Замесила тесто на утренние блинчики, поставила тушить овощи для обеденного рагу.

Задумалась, что приготовить на ужин и какое вино охладить.

Закончив с кухней, решила заняться статьёй.

Прошла в свой кабинет – огороженный угол кухни, вернее, даже не угол, а облувленную нишу с окном, в нише жи-

ли стол с продавленным диваном, на диване жила кошка Нью.

Статья сначала пошла хорошо, но мысли скакали, как зайцы, а ручка упала и укатилась.

Ирис вздыхает, кладёт голову на руки, замирает.

Хорошо бы выйти в сад, поискать малину, вдруг осталась пара ягод?

Кошка Нью подходит, трётся об ноги.

Ноги у Ирис длинные и стройные, вот что значит иметь правильные гены.

Мама у Ирис финка, а папа русский, как и её Семочка. Может быть поэтому она его выбрала?

Да нет, это он её выбрал. Схватил, украл, унёс.

Уволок.

В прошлой жизни у Ирис было все как у людей.

Дом, муж, дети.

А сейчас все как у жены писателя.

Дом – курам на смех, дети выросли, первый муж уехал на море со своей секретаршей, а она... Ей даже работу пришлось поменять.

– Никаких дежурств в больнице! – кричал Семочка, размахивая жилистыми руками. – Я тебя обеспечу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.